

Отцу, который неизменно меня вдохновляет;

Крису — главному поклоннику Хемингуэя;

*И Маку: это наша с тобой книга,
хотя они всегда наши с тобой.*

Кэтскрэйдл-коттедж, Уэльс

1994 год

Мы разбираем завалы корреспонденции, скопившейся за долгие годы. Сын берет тонкие голубые конверты и читает вслух преисполненные любви письма Мэти ко мне («Милая Марта») и мои к ней. Он читает мою переписку с редакторами, с Гербертом Уэллсом и Элеонорой Рузвельт (мои послания просто ужасные, хотя она сама никогда бы в этом не призналась) — все это по большей части отправляется в большие коричневые конверты, чтобы в дальнейшем быть захороненным в архивах Бостона. Пусть я еще и чувствую себя бодрой, но я давно уже старуха, зрение мое с каждым днем угасает, и этот маленький коттедж — убежище писательницы — начинает давить на меня. Сын помогает мне навести здесь порядок. Он не пропускает ни одного письма, озвучивает первый абзац или два, а иногда весь текст целиком, и только после этого я принимаю решение.

Он достает из мятого конверта очередное послание и читает:

— «Дорогая Муки!»

Я забираю у него письмо, бросаю в камин и наблюдаю за тем, как лист бумаги, сгорая в голубых и красных языках пламени, постепенно превращается в пепел. Мне не нужно напрягать глаза, я знаю, как оно подписано: либо «Твой товарищ Э.» (как это было на заре наших отношений), либо «С лю-

бовью, Клоп», либо «Твой Бонджи» (как это было потом). Бонджи — одно из многих прозвищ, которыми мы по очереди награждали друг друга. Но я никогда не была *его* Бонджи, просто не могла, даже если бы захотела или попыталась ею стать. Не исключено, что именно в этом и состояла моя ошибка, но я всегда оставалась Мартой Эллис Геллхорн, даже после того, как стала миссис Эрнест Хемингуэй.

Часть первая

Ки-Уэст, Флорида

Декабрь 1936 года

Хаос, пропахший алкоголем и залитый ярким солнечным светом, — вот какой мне вспоминается та зима, когда я познакомилась с Эрнестом. Мне было тогда двадцать восемь лет. В Рождество исполнялся год, как умер отец, и у Мэти, которая горевала все это время, выцвели глаза и вдруг разом поседели золотистые волосы. Она не хотела проводить праздники в Сент-Луисе без папы, и мы отправились из Миссури в Майами, но изнывали там от тоски, а потому сели в машину и поехали в городок, название которого завладело нашим воображением, как только мы увидели его на борту экскурсионного автобуса: Ки-Уэст. Брат вел машину, мама сидела рядом с ним, а я устроилась возле открытого окна на заднем сиденье. Миновав бесконечную череду мостов, мы прибыли на край земли. Этот городок восхищал своим упадком и разложением. Местные жители не утруждали себя ничем, кроме ловли морских черепах и раскалывания кокосов; они потели от жары и сплетничали, сидя на обшарпанных террасах очаровательных разноцветных домишек и на ласковых пляжах, где сразу вспоминались «Одиссея», или «Моби Дик», или маленькая Русалочка, которая не смогла убить принца ради собственного спасения.

— Мы ведь не пройдем мимо бара с говорящим названием «Неряха Джо»? — спросила Мэти.

Вообще-то, наша прогулка близилась к концу: мы уже полюбовались видами с маяка, устроили пикник на пляже, а потом стряхнули песок и, потные с головы до ног, собирались садиться в машину, чтобы найти место, где можно принять прохладную ванну и вымыть спутавшиеся на ветру волосы. Но мы с мамой старались лишний раз ни в чем не отказывать друг другу. Вот отец, тот никогда особо не баловал домочадцев.

Вероятно, Хемингуэй сразу заметил нас, как только мы вошли. Помню, как посетители обернулись на открывшуюся дверь, а мы сперва лишь растерянно моргали: слишком разительным был контраст между безжалостным солнцем на улице и царившим внутри полумраком. Теплое дерево барной стойки, лужицы растаявших кубиков льда на полу и ряды бутылок «Кампари», виски и рома... Верзила-бармен поприветствовал нас из-за длинной подковообразной стойки, а на другом конце заведения шумные завсегдатаи уже вновь переключили свое внимание на партию в бильярд: они играли на деньги — здесь все было серьезно. Какой-то мужчина, не особо уступающий по габаритам бармену, с заметным усилием оторвался от вороха бумаг на столе. Ну и видок у него был: футболка вся в пятнах, а потрепанные шорты подпоясаны веревкой.

Незнакомец с удивительным проворством в несколько шагов преодолел расстояние между нами, приветственно кивнул и представился:

— Эрнест Хемингуэй.

Капелька пота медленно потекла у меня по шее, затем по спине и впиталась в темную ткань открытого платья, которое и без того было влажным и мятым после долгого сидения в машине, я уж молчу про пикник на пляже. Мэти мимолетным движением прикоснулась к моему плечу. Это был знак

забыть о своем высоком росте и держаться прямо. Я же тем временем пыталась осознать происходящее: неужели этот босой, подпоясанный веревкой чумазый мужчина и впрямь Эрнест Хемингуэй? Да, знакомая картина: характерный контур волос на лбу, напоминающий перевернутый треугольник, — в народе эту особенность именуют вдовьим мысом; взгляд искусителя. Каждое утро, когда я просыпалась в своей комнате в общежитии колледжа Брин-Мар, на меня с фотографии на стене смотрели эти глаза.

— Очень приятно, — сказала Мэти. — Меня зовут Эдна Геллхорн. Это мой сын Альфред, а это Марта.

Просто «Марта», а не «моя дочь Марта». Понятно, что после такого представления Хемингуэй мог принять нас с братом за молодоженов, которые только что сошли с яхты... Но у меня в голове крутилась лишь одна мысль: «Черт, это действительно он!» Тот самый знаменитый Эрнест Хемингуэй, который сумел выловить у берегов Кубы невероятных размеров марлина, а на охоте в Кении убивал диких зверей; тот, кто творил в Париже, когда я жила там; тот, кого я мечтала хотя бы мельком увидеть, как писатель мечтает хотя бы однажды увидеть в реальности свой персонаж. Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фицджеральд были моими героями. Фото Фицджеральда я бы тоже повесила на стену, если бы он выглядел так же неотразимо, как и писал.

С храбрыми не бывает беды. Эту цитату из романа «Прощай, оружие!» я выбрала в качестве эпиграфа для своей первой — и, слава богу, вскоре забытой — книги «Такая безумная погоня» («What Mad Pursuit»). Если помните, у Хемингуэя главный герой, лейтенант санитарных войск, адресовал эти

слова медсестре, в которую влюбился. Правда, она ответила ему: «Все равно и храбрые умирают».

Брат сказал Хемингуэю, что мы приехали в Ки-Уэст на праздники, поскольку соскучились по солнцу, а Мэти добавила, что в Сент-Луисе в это время года существовать просто невыносимо. Я судорожно пыталась придумать что-нибудь более оригинальное, ведь как-никак я считала себя писательницей.

Но Эрнест Хемингуэй уже повернулся к бармену и произнес тоном, каким обращаются если не к сообщнику, то по крайней мере к человеку одной с тобой весовой категории:

— Скиннер, не нальешь «Папа добле»¹ моим друзьям из Сент-Луиса?

Моим друзьям. Хемингуэй знал, что это нас очарует, и я разгадала его уловку, но все равно купилась. Я попала под его чары и одновременно испытала облегчение оттого, что он не потерял к нам интереса. Да, этот Хемингуэй скорее принадлежал к поколению Мэти, а не к моему, но в его грубоватости было что-то привлекательное и милое, такие чувства испытываешь, когда видишь, как из воды поднимается *Balaenoptera musculus* — большой синий кит.

Пока Скиннер выжимал в ржавый блендер четыре отменных грейпфрута и восемь лаймов, после чего спрыскивал все это пугающим количеством рома и ликера «Мараскин», Хемингуэй предавался воспоминаниям.

— Я бывал в Сент-Луисе в молодости. Все стóящие женщины в этом мире родом из Сент-Луиса.

¹ «Папа добле», или «Двойной Папа», — вариация коктейля «Дайкири», придуманная Эрнестом Хемингуэем в начале 1930-х годов и названная барменом Константино Рибалайга в его честь. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Далее он поведал нам, что обе его жены окончили там школу, опустив тот факт, что с легкостью оставил первую супругу ради второй, богатой и более искушенной.

— И кстати, мои друзья — Билл и Кэти Смит — тоже оттуда. Прекрасный город Сент-Луис.

Потом Хемингуэй заговорил о погоде, но в своем стиле: рассказал внушающую ужас историю об урагане, который стер с лица земли половину домов в Ки-Уэсте и убил сотни ветеранов в реабилитационных центрах.

Гудение блендера вмешалось в повествование до того, как он успел обвинить в их гибели президента Рузвельта, а Мэти — выразить свое негодование по этому поводу. Повисла пауза, и я заметила укороченный кий, прислоненный к стене за стойкой бара.

— О, Скиннер и его кий! Но разве их место не в Гаване? — удивилась я.

Брат однажды показал мне какой-то мужской журнал, где печаталась серия «писем» Хемингуэя из разных экзотических мест. Там он, помнится, описывал бармена, который держал за стойкой укороченный кий и лупил им по голове посетителей, когда в их заведении начиналась заваруха.

— В Гаване? — переспросил Хемингуэй.

— Вы же рыбачили на Кубе, — сказала я. — Я читала ваши «Письма из Гаваны». Кажется, в журнале «Эсквайр».

— Я рыбачил на Кубе, пока бедняга Скиннер колдовал над выпивкой здесь, в Ки-Уэсте.

Скиннер с высоты метко разлил коктейль по бокалам и расставил их перед нами. Сложно было представить ситуацию, когда такому крупному мужчине мог в качестве оружия понадобиться бильярдный кий, тем более укороченный. И еще труднее

было смириться с тем, что этот кий находится тут, во Флориде, в то время как в моем сознании он был накрепко привязан к дешевому бару в Гаване.

Хемингуэй собрал в кучу свою корреспонденцию и журналы и переложил всё на дальний табурет.

— Садитесь, если не хотите, чтобы я уступил вам свое место, — настойчиво сказал он и придвинул один табурет Мэти, а другой мне.

Потом сел сам. Табурет казался слишком хлипким для его габаритов. Темные глаза Хемингуэя были сфокусированы на моей матери, но я представляла, что боковым зрением он видит и меня тоже. А еще представляла, как он помещает нас с Мэти и братом в свою историю, которая впоследствии окажется в одной из его книг и станет бессмертной.

Пока Альфред освобождал для себя табурет, заваленный корреспонденцией Хемингуэя, тот поднял бокал и, обращаясь к нам с Мэти, провозгласил тост:

— Добро пожаловать в мой уголок ада!

Он посмотрел на Мэти и отпил глоток из бокала, наверняка уже не первого за день... И даже не второго.

Генерал Джордж Кастер, который держал оборону на последнем рубеже на картине, висевшей над стойкой, был явно недоволен.

— Мой сын учится на последнем курсе Медицинского университета, — произнесла Мэти. — А моя дочь... Вы, конечно, знаете о ее последней книге «Бедствие, которое я видела»?

— Мама, — попыталась вмешаться я.

Хемингуэй повернулся ко мне; мы были настолько близко друг от друга, что я едва ли не слышала, как у него в голове прокручиваются слова: «Она дочь Мэти».

Я прикурила сигарету до того, как он успел предложить мне зажигалку, если, конечно, вообще был в состоянии сейчас об этом думать. И почувствовала, что для него женщина-дочь — разочарование, как и женщина-писатель. А уж обе в одном флаконе тем более.

— «Бедствие, которое я видела»?.. Да, что-то такое припоминаю. Это ведь о Великой депрессии? — Хемингуэй явно понятия не имел об этой книге и цеплялся за название. — Поделитесь, о чем вы писали, мисс Марта Геллхорн, дочь прекрасной Эдны?

Он улыбался Мэти, а Скиннер поставил передо мной пепельницу.

— Вообще-то, это не совсем моя книга, — тихо ответила я.

Только так, вполголоса, я могла говорить о гувервиллях¹, которые шаг за шагом исследовала, пока собирала материал для своей книги. Гувервилли — это лачуги и палатки, лужи с белой пеной, сточные канавы, мухи, мошкара и крысы, тощие коты, собаки и козы, ну и конечно же донельзя исхудавшие, ослабленные и больные люди. Самое меньшее, что я могла сделать для этих несчастных, чтобы сохранить их достоинство, — это хотя бы на бумаге выразить свой гнев и возмущение, попытаться объяснить, что так быть не должно.

— То есть это роман, однако все истории реальные, — пояснила я. Да, я использовала художественную форму, но только для того, чтобы защитить людей, которые стыдились своего существования и винили во всем самих себя. — Маленькая девочка ищет в вонючей луже колесо от ручной тележки.

¹ Термином «гувервилль» обозначались небольшие поселения, которые строили и где были вынуждены жить тысячи американцев, потерявших жилье и работу в результате Великой депрессии 1929–1933 гг.

Мать устраивает для своей дочки пир из одной банки консервированной рыбы. И...

Я затушила наполовину выкуренную сигарету в чистой пепельнице, мне совсем не хотелось выставить себя перед Эрнестом Хемингуэем слезливой сентиментальной дурочкой. Я собиралась сказать «малышка», но слово застряло у меня в горле. Той малышке было всего четыре месяца, у нее из-за сифилиса развился прогрессивный паралич, но врачи отказывались делать ей уколы, которые стоили каких-то жалких двадцать пять центов. Тогда, в больнице, я выложила все свои деньги ради той крохотной девчушки с таким красивым и многообещающим именем — Эбигейл Джун.

— Тяжко писать о том, что цепляет за самое нутро, да? — спросил Хемингуэй. — Но только так и следует писать каждому из нас. С осколком между сердцем и позвоночником.

— Один обозреватель сравнил Марти с Достоевским, Диккенсом и Гюго, — вставил Альфред. — А ее фото поместили на обложке журнала «Сатердей ревью»...

— Я читала все ваши книги, мистер Хемингуэй, — перебила я брата.

На месте Эрнеста Хемингуэя я бы точно сбежала от семейки сумасшедших, которые вообразили, будто отзывы об их пишущей дочери и сестре достойны упоминания в его присутствии.

— «Прощай, оружие!» — это что-то невероятное. — На мой взгляд, Фредерик Генри был выписан лучше, чем медсестра, но история все равно брала за душу. — Я, когда прочитала этот роман, все бросила, схватила пишущую машинку и отправилась во Францию.

— Приятно думать, что моя работа вдохновляет девушек бросить учебу.

— Ну, положим, на это мою сестру и вдохновлять было не надо, — заметил Альфред. — Она к тому времени уже и так ушла из колледжа. Не позволяйте ей морочить вам голову, сэр.

— Сэр? — Эрнест повернулся ко мне. — Марти, если вы тоже назовете меня «сэр», мне придется позвонить свежее испеченному королю Георгу и потребовать свой рыцарский крест.

Он весело рассмеялся, допил коктейль и продемонстрировал пустой бокал Скиннеру.

— После колледжа я бы умерла от скуки в какой-нибудь конторе, где одна радость — вид из окна.

Я задыхалась в атмосфере Брин-Мара, где девушек интересовали только наряды, цвет губной помады и свидания с парнями из Лиги плюща. Все мои сокурсницы дружно сплетничали, а если и хранили секреты, то лишь для того, чтобы показаться лучше других. Я ушла из колледжа, чтобы заняться литературой. Возможно, я была не бог весть какой писательницей, и отец вполне справедливо назвал мой первый опус «образчиком возвышенной чуши, которой забита голова студентки». Но мой второй роман был уже значительно лучше, я чувствовала это.

— Какая хорошая и умная девушка. Наверное, эта девушка собирается написать новую книгу? — поинтересовался Хемингуэй.

— Я больше ни на что не гожусь, мистер Хемингуэй.

— Просто Эрнест, — поправил он.

— Эрнест.

Я думала о том, что по большому счету только писательство меня и спасло, удержало от сползания в болото сомнений. Мне было интересно узнать: Эрнест Хемингуэй в этом хоть немного такой же, как

и я? Этот знаменитый писатель хотя бы иногда сомневался в своих текстах, в собственной значимости? Задавался вопросом: стоит ли выкладываться ради книги, которую могут, не дочитав и до середины, оставить на скамейке на вокзале, даже если дорога предстоит очень долгая?

Как-то само собой получилось, что я начала рассказывать Эрнесту о своем отношении к писательству. Наверное, потому, что это и впрямь его интересовало. После романа «Бедствие, которое я видела» у меня появилась тьма идей, и в надежде, что мне выпадет шанс писать о том, что происходит в Европе, я заваливала ими «Таймс», «Нью-Йоркер» и вообще всех, кто имел отношение к прессе. Гитлер уже не первый год бесчинствовал: ограничивал допуск евреев к университетскому образованию, к врачебной или юридической практике, а в сентябре 1935 года на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге по его инициативе были приняты так называемые Расовые законы. Но все мои предложения не находили отклика. Эта тема никого не интересовала. Тогда я наскребла на дорогу в Париж (ночевка в тамошних модных отелях любому по карману ударит) и оттуда отправилась дальше, в Штутгарт и Мюнхен. Нацистское отребье настолько потрясло меня своей мерзостью, что, вернувшись домой, я решила написать пацифистский роман.

— А когда закончу его, собираюсь поехать в Испанию. Буду писать репортажи о гражданской войне.

Потом мы еще долго говорили об Испании, о том, что это передний край, на котором можно остановить фашистскую заразу.

— Все знают, что у них руки по локоть в крови, — сказала я, — однако всему миру почему-то наплевать.

— Я оплатил отправку двух добровольцев в Интернациональные бригады и собираюсь послать республиканцам полторы тысячи баксов на санитарные машины.

В ту пору полторы тысячи долларов составляли для простого человека годовое жалование.

— Деньги — это всего лишь деньги, не больше того, — ответила я. — Главное — рассказать людям правду, а для этого надо видеть все своими глазами.

— Эрнест, вы уж простите, похоже, я плохо воспитала дочь, — вмешалась Мэти. — У нее темперамент перечеркивает все манеры.

Но Хемингуэй уже смеялся:

— Хорошо, Дочурка, я понял: отправлюсь в Испанию, как только закончу свой новый роман. А пока давай договоримся: в Мадриде я угощаю тебя «Папа добле». Идет?

— Тогда придется взять с собой Скиннера, — заметила я.

— А для Скиннера — большущий чемодан.

— Лучше сундук.

— Но не простой, а громадный такой сундук.

Мы все дружно рассмеялись, и Хемингуэй показал Скиннеру на мой пустой бокал, намекая на вторую порцию «Папа добле». А вот бокалы Мэти и брата были еще полными.

Я достала сигарету, а Эрнест взял у меня зажигалку.

— О войне чертовски трудно писать правду, так что для писателя нюхнуть порошу очень даже полезно.

Он чиркнул зажигалкой и поднес пламя к моей сигарете. У меня мурашки по спине пробежали, когда он на секунду придержал мою руку. Сама от себя такого не ожидала. Вот же чертов Эрнест Хемингуэй!

— Но естественно, завистливые недоноски, которые даже не знают, за какой конец держать винтовку, всегда постараются низвести твой опыт до нуля.

Я жадно затаилась и укрылась за дымовой завесой своей неопытности. В Европе я не раз сталкивалась с угрозой войны, но увидеть войну своими глазами мне еще только предстояло.

— Да, Испания — вот куда стоит поехать, когда я закончу книгу, — заключил мой собеседник. — У меня здесь прекрасный дом и прекрасная семья. Но когда поставишь точку, покой начинает действовать на нервы.

— Вы не расскажете о своей новой книге, мистер Хемингуэй? — попросила я.

— Просто Эрнест. И давайте уже перейдем на «ты», — предложил он.

— Эрнест, — повторила я и пригубила вторую порцию коктейля.

У меня голова пошла кругом. Перейти на «ты» с самим Эрнестом Хемингуэем — в это было просто невозможно поверить.

А он принялся описывать нам сюжетные повороты истории, которая должна была стать его третьим романом «Иметь и не иметь». Это была история рыбака, который в попытке уберечь семью от нищеты соглашается перевозить с Кубы в Ки-Уэст виски и другую контрабанду. Слушать, как знаменитый писатель рассказывает отдельные, еще не оформившиеся в книгу эпизоды, — это было что-то невероятное. Я была уверена, что если буду слушать внимательно и ничего не упущу, то пойму, как Эрнест Хемингуэй это делает. Догадаюсь, каким образом он подбирает правильные слова и, как будто гвозди, метко и уверенно вбивает их в «доску» сюжета, и тогда пусть и не на таком уровне, но тоже смогу овладеть литературным мастерством.

Хемингуэй увлекся сам и увлек всех нас, но тут в дверях бара появился какой-то хорошо одетый мужчина.

— Эрнест, старина, вот ты где!

Хемингуэй встал с табурета и представил нам своего друга:

— Томпсон, владелец здешней скобяной лавки, мы вместе рыбачим. Томпсон, это Эдна Геллхорн. Ее сын Альфред. И дочь Марти, писательница. Ты, наверное, читал «Бедствие, которое я видела»? Миссис Рузвельт высоко оценила этот роман.

— Да, конечно, — кивнул Томпсон. — Но тебя ждут Полин, гости и великолепный ужин с лангустами.

Эрнест предложил своему приятелю сесть и выпить, но тот решительно отказался.

— Геллхорны приехали из Сент-Луиса, — сказал Эрнест. — Между прочим, супруг Эдны — доктор.

Мэти уже успела очаровать Хемингуэя: ему нравилось, что она, как и его мать, вышла замуж за врача, но при этом была совсем на нее не похожа — открытая для общения и без диктаторских замашек.

Томпсон был очень мил, выразил надежду, что нам нравится в Ки-Уэсте (брат заверил, что так оно и есть), однако упорно гнул свою линию:

— Это все очень хорошо, Эрнест, но стол уже накрыт.

— Да-да, ты иди, — ответил Хемингуэй.

— Полин послала меня за тобой, — не сдавался Томпсон.

— О, не стоит из-за нас задерживаться, — произнесла Мэти, — вас ждут гости.

— Иди, Томпсон, — повторил Эрнест. — Передай Полин, я здесь перекушу, пусть не волнуется —

МЕГ УЭЙТ КЛЕЙТОН

с голоду не умру. И скажи, что я подтянусь позже, успею на бокал «Пенья».

Эрнест хотел, чтобы Томпсон передал его жене, что он настолько занят, выпивая у Скиннера, что не может присутствовать на званом ужине в собственном доме. Я не сомневалась, что при этом Томпсон вряд ли вспомнит о Мэти и моем брате, но наверняка отрапортует супруге о длинноногой блондинке в черном летнем платье, как будто обо мне больше и сказать нечего.